

МАРИЯ РУДОВИЧ

## СТАРЫЙ ДОМ

РАССКАЗ

— Скорее, скорее! — тормозит меня бабушка. — Ну же, с тобой я опять к шапочному разбору приду!

Нет, мне вовсе не хочется вылезать из-под теплого одеяла — еще совсем рано, да и соседский Мишка вот-вот начнет возиться за стеной: вчера кубики так и остались на полу и медвежонок в углу. По длинному коридору шаркает старуха Лакутиевская, в кухне Циля разжигает колченогий примус, на крыльце, внимательно глядя на хозяйку, потягивается черно-белый кот. Хлопают двери, свистят чайники — начинается обычный день. Я зажмуриваю глаза и пытаюсь притвориться спящей, но — “Вставай, вставай, я твои фокусы наскво-о-о-зь вижу!” — бабушка спешит.

С улицы Ленина мы сворачиваем на Ульяновскую, под звон дребезжащих трамваев, вдоль мутно-грязной Свислочи с поросшими осокой и камышом топкими берегами с одной стороны и корпусами третьей клиники с другой добираемся до стадиона “Динамо”, мимо унылых деревянных домов медленно поднимаемся вверх по Белорусской, взбираемся на покрытую паровозной копотью железнодорожную насыпь, торопимся пройти вдоль обшарпанного грязно-зеленого забора, из-за которого по всей округе расплывается невыносимое зловоние — городская бойня! — и оказываемся, наконец, на Червенском рынке.

---

*РУДОВИЧ Мария Максимовна родилась в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. В 2010 году награждена почетным знаком “Отличник печати Беларуси”. Печаталась в коллективных сборниках, республиканской периодике. Переводные произведения опубликованы в журналах “Нёман”, “Польмя”, увидели свет отдельными изданиями. Член Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.*

Аппетитные круги белого сыра, вязанки лука, кольца колбасы, запах яблок. Гомон и толчея, лошади, лениво жующие овес. Свистульки, глиняные макитры, леденцы на палочке. Особенно оживленно у мясных лотков: покупатели громко торгуются, требуя повернуть понравившийся кусок так и этак, продавцы злятся, на весы звучно шлепаются розовые филеи и грудинки. Бабушка обходит ряды, пробует сметану, недовольно рассматривает пучки редиски, оценивающим взглядом окидывает квохчущих кур, уходит, потом опять возвращается, опять рассматривает, встречается приятельниц, долго разговаривает, потом снова обходит ряды, что-то прикидывает, опять обходит, опять рассматривает... Я принимаюсь ныть.

Дома она растапливает печку — изразцы нагреваются медленно, зато долго хранят тепло. Иногда “голландка” начинает дымить, чадить, в комнату ползет угарный газ.

— Трубочиста надо позвать, — говорит бабушка.

Трубочист является с длинной лестницей и мотком скрученной проволоки, забирается на крышу и чем-то старательно скрежещет в трубе, откуда столбом поднимаются пыль и сажа. Время от времени во двор заходит точильщик ножей, а однажды забрел шарманщик. На веревках полощется бельё, на крылечках судачат старухи, в палисадниках растут турецкая гвоздика и синие “ботики”, из окон несется голос Кристалинской: “Эй, рула-тэрула-ла-ла-ла-ла-ла-ла...”, а на буфетах и комодах красуется предмет особой гордости хозяек — слоники, с которых ежедневно бережно смахивают пыль. Иногда по улице мимо играющих в “классики” детей пробегает тоненькая, улыбающаяся чему-то своему, светловолосая девушка. Много лет спустя, случайно открыв журнал “Работница”, я увидела подборку стихов и фотографию. И подпись — Вера Вярба.

По вечерам бабушка, устроившись на диване, при мягком свете мраморного светильника-“совы” читает “Анну Каренину” или “Воскресение”, “Крейцерову сонату” или “Хождение по мукам”. Иногда я усаживаюсь рядом и слушаю сказку: “Три девицы под окном пряли поздно вечерком...”. Потрескивают половицы, тикают часы, шуршат страницы. “А царица молодая, дела вдаль не отлагая, с первой ночи понесла...”

— А что понесла?

— Не знаю.

— А куда понесла?

— Не знаю.

— А зачем понесла?

— Ты будешь слушать или нет?

“В те поры война была...”

Война неизменно присутствует в нашей жизни, вторгаясь в будни и праздники неотступными разговорами о бомбежках и заложниках, виселицах и военнопленных. “Вот я тебе сейчас задам! — хватает меня за шиворот бабушка, когда я пытаюсь незаметно сплавить подальше недоеденный кусочек хлеба. — Слава Богу, ты не знаешь, что такое голод и свист падающей бомбы! Не смей выбрасывать хлеб!” Именно тогда вошли в мое сознание понятия “оккупация, расстрел, душегубка”, тогда услышала я те подробности о жизни в нашем городе, о которых не пишут в учебниках и которых не забыть мне до смертного часа.

Весной и осенью улицы Лодочная и Октябрьская утопают в раскисшей грязи: ни пройти, ни проехать. В дождливую пору с горки, от здания Белорусской железной дороги, с шумом сбегает ручьи, по которым так весело пускать кораблики, вода скапливается внизу, заливая трамвайные пути, и надолго перекрывает движение. В нашем доме капает с потолка, от стен отстают сырые обои. Порой в кладовке раздаётся грохот, падают миски, гремят корыта. Мы с Мишкой хорошо знаем, что это не иначе как колдунья, живущая, по нашему глубокому убеждению, на чердаке, отправляемая на бал, но сосед-сапожник, которому в чай, случается, падает отсыревшая штукатурка, имеет иное мнение о природе звуков и, на все лады распекая кота — “Ишь, негодник, только и знает, что днем спать, а всю ночь где-то шляться! Свет такого лодыря не видел!” — ставит мышеловку. С наступле-

нием темноты между дровяными сараями и огромными кучами мусора шныряют подозрительные типы в низко надвинутых на бегающие глаза кепках. Случаются поножовщина и пьяные драки, по ночам доносятся тревожные шорохи и невнятный говор, кто-то неслышно поднимается по ступенькам и вкрадчиво стучит в кухонное стекло, по двору крадутся длинные тени. “Черная кошка”, — шепчутся соседи, — видно, опять появилась “Черная кошка”. Жильцы плотнее прикрывают двери, запирая их на все засовы.

В будни готовят мачанку, жарят блинчики, варят картошку, в погребах держат квашеную капусту и соленые огурцы. Празднуют Троицу, Воскресение, Сретение, Рождество. На Пасху пекут нарядные булки, красят яйца, освящают в церкви хлеб и соль. “Мазурка королевская, мазурка ореховая, мазурка рассыпчатая, — бормочет бабушка, торопясь в кухню и обратно, — поросенок, гусиная шейка...” Потом украшает белую скатерть зелеными веточками дерезы, потом пудрится — в воздухе пляшет розовая пыльца “рашели” и долго висит сладковатый запах “Красной Москвы”. Потом приходят гости.

Я часто вспоминаю ту жизнь, где последним достижением техники был крохотный экран с огромной линзой, где от простуды лечили жженым сахаром, а от испуга — отваром перелета, где свято верили, что завтра будет лучше. На моем столе и сейчас стоит старомодная нелепо-громоздкая “сова” с отбитыми ушами — сегодня вряд ли кому-то придет в голову украсить интерьер подобным “ретро”. Старый дом снесли. Долго еще оставалась серо-коричневая, в пестрых крапинках каменная ступенька. Потом и она исчезла.

## РАЗДУМЬЯ

### РАССКАЗ

Горы краснели.

От вершины до подножия заходящее солнце неумолимо разливало горячую краску, которая тут же превращалась в пурпурную и густо растекалась по кручам, а после становилась сизой и переползала с уступа на уступ, а тогда наливалась жгучим жаром, и, отчаянно цепляясь за острые скалы, срывалась в бездну, а потом скользила в теснины, нестерпимо опалая снег и лед. А потом яркая краска делалась невыносимой и, наконец, налившись в самых глубинах лиловым багрянцем, становилась черной. И грозные исполины — неприступные горы между двумя морями — погружались во мрак. И мрак поднимался к вершинам. И старый пик, покрытый снеговой шапкой, думал свою нелегкую думу.

Он помнил себя от начала времен. Над ним неторопливо плыли столетия, и он молча глядел во мглу веков и видел начало и конец, и дыхание вечности было ему знакомо, и шепот мгновений не ускользал от него, и минувшее не было для него тайной, и грядущее было ему открыто. И ничто не нарушало его покой, и нерушимая тишина царила вокруг.

Отсюда начиналась история людей, и люди шли к нему, и называли его отцом. И он укрывал их, и берег их, и давал им живительную воду и виноградную лозу. И они строили свои дома, и пели свои песни, и кривые дорожки были неведомы им, и весной цвел кизил, и карагач дарил мед. И они доверяли ему сокровенное, и высокое было высоким, а низкое низким. И они шли по угрюмым камням, и он вел их к солнцу. И предки просили за по-

томков, а потомки молились о предках. И он гордился своими сыновьями, и они возвращались к нему с победой, и все дороги благословляли их. И высокое делалось еще выше, а низкое было ненужным.

Старик горестно вздохнул, и дыхание его вырвалось на поверхность, и растопило снег и лед, и ветер пронесся от подножия к вершине, и люди подумали, что это вулкан проснулся.

И вращался круг времени, и великий поэт чужого народа воспел его, а родной сын покрыл позором. Когда это случилось? Может, тогда, когда он позволил сыну постигать науку пришельцев — науку оборотней? И сын стал изворотливым и болтливым, и прямые пути отринули его, и обман шел рядом с ним. А может, тогда, когда он без числа дал сыну от своих недр и долин, и сын не пахал и не сеял, и не пас стада, и не растил детей, и вознесся в мыслях своих выше гор и неба, выше Бога и отца?

И подался к чужим людям, и те люди дали ему приют, и он ел их хлеб, и отплатил им черной неблагодарностью. Он шел их дорогами, но так и не узнал их путей. Он научился произносить чужие слова, но так и не постиг их смысла. Он криво усмехался, и глаза его были подернуты серой пеленой. И ложь была сладка для его языка. И высокое стало низким, а низкое — высоким. И карагач покрылся пылью, и сделался горьким кизил. И грозно молчали предки, и не откликнулись потомки. И однажды чужая женщина засмеялась ему в глаза и плюнула ему вслед, и прокляла его отца.

И у старика перехватило дыхание, потому что извечное утратило смысл, и ясное исказилось, и неподвижное сдвинулось с места, и покатилося вниз, и падало все ниже и ниже, и не остановить было стремительного падения. И похолодело сердце, и не было спасения.

“Прости, чужая дочь”, — шептал старик, хотя знал: не прощается непростительное.

И горячие слезы обожгли его щеки, и холодные водопады превратились в разъяренные потоки и залили все вокруг, но он не чувствовал того нестерпимого жара, а люди думали, что это лава течет по склонам.

Где-то в глубинах глухо стучало его сердце, и яростный гул поднимался все выше и выше, и разносился от моря до моря, и гнев, великий гнев охватил его душу, и он покачнулся и задрожал, сначала слегка, а потом все сильнее и сильнее, и огромные глыбы исчезали в темных расщелинах, и камни все сыпались и сыпались, и лавины сходили вниз, и люди думали, что это земля разверзлась.

И когда утихло море, старик ниже надвинул снеговую шапку, на которую упал первый солнечный луч.

Светало.

Горы краснели.